

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА
(ЖИЗНЬ И
ТВОРЧЕСТВО)

Проза Марины Цветаевой

Марина Цветаева

**Наталья Гончарова
(жизнь и творчество)**

«Public Domain»

1929

Цветаева М. И.

Наталья Гончарова (жизнь и творчество) / М. И. Цветаева —
«Public Domain», 1929 — (Проза Марины Цветаевой)

Художница Наталья Сергеевна Гончарова (1881—1962) – внучатая племянница Н.Н. Пушкиной. Цветаева познакомилась с Гончаровой в 1928 году. Некоторое время Гончарова занималась рисунком с Ариадной Эфрон. В 1930 году иллюстрировала поэму-сказку Цветаевой «Молодец».

Содержание

Уличка	5
Мастерская	8
Трехпрудный	11
Младенчество	15
Две Гончаровы	19
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Марина Цветаева

Наталья Гончарова (Жизнь и творчество)

Уличка

*О ты, чего и святотатство
Коснуться в храме не могло,
Моя напасть, мое богатство —
Мое святое ремесло!*

Каролина Павлова

Не уличка, а ущелье. На отстояние руки от тела стена: бок горы. Не домб, а горы, старые, старые горы. (Молодых гор нет, пока молода — не гора, гора — так стара.) Горы и норы. В горе и норе живет.

Не уличка, а ущелье, а еще лучше — теснина. Настолько не улица, что каждый раз, забыв и ожидая улицы — ведь и имя есть, и номер есть! — проскакиваю и спохватываюсь уже у самой Сены. И — назад — искать. Но уличка уклоняется — уклончивость ущелий! спросите горцев — мечусь, тычусь — она? нет, дом, внезапно раздавшийся двором — с целую площадь, нет, подворотня, из которой дует веками, нет, просто — улица, с витринами, с моторами. Ее нет. Сгинула. Гора сомкнулась, поглощая Гончарову и ее сокровища. Не попасть мне нынче к Гончаровой, а самой пропасть. Правая, левая? С.-Жерменская площадь, Сена? Где — что? И относительно какого *что* это *где*?

И вдруг — чудо! — быть не может! может, раз есть! неужели — она? как же не она — оно — теснина — ущелье! Тут же, между двумя домами, как ни в чем не бывало, будто — всегда была.

Вхожу. Вся уличка взята в железо. Справа решетка, слева решетка. Если бы пальцем или палкой — звук не прекращался бы. Клавиатура охраны, скала страха. Что так хранили, от чего так таились те, за? Есть, очевидно, вещи важнее, чем жизнь, и страшнее, чем смерть. (Чужая тайна и честь любимой).

Уже не ущелье, а тюремный коридор или же зимнее помещение зоологического сада, — только без глаз, тех и тех. Никого за решетками, ничего за решетками, *то* за решетками. Но — в зверинце и тюрьме исключенное, зверинец и тюрьму исключаящее — воздух! Из ущелья дует. Кажется, что на конце его живет ветер, бог с надутыми щеками. Ветер — живет, может ли ветер жить, жить — это где-нибудь, а ветер везде, а везде — это *быть*. Но есть места с вечным ветром, с каким-то водоворотом воздуха, один дом в Москве, например, где бывал Блок и где я бывала по его следам — уже остывшим. Следы остыли, ветер остался. Этот ветер, может быть, в один из своих приходов — одним из своих прохождений — поднял он и навеки приковал к месту. Место, где вещь — всегда, и есть местопребывание — какое чудесное, кстати, слово, сразу дающее и бытность и длительность, положение в пространстве и протяжение во времени, какое пространное, какое протяжное слово. Так Россия, например, местопребывание тоски, о которой так же дико, как о ветре, сказать: живет. А — живет! И ветер живет. На конце той улички, чтобы лучше дуть в лицо — там, у ее начала.

Всякий ветер морской, и всякий город, хотя бы самый континентальный, в часы ветра — приморский. «Пахнет морем», нет, но: дует морем, запах мы прикладываем. И пустынный — морской, и степной — морской. Ибо за каждой степью и за каждой пустыней — море, за-пустыня, за-степь. — Ибо море здесь как единица меры (безмерности).

Каждая уличка, где дует, портовая. Ветер море носит с собой, превносит. Ветер без моря больше море, чем море без ветра. Ветер в моей уличке особый, в две струи. (Зрительно: из

арапских губ толстощекого бога расходится в два жгута.) Морской, как всякий, и старый, как только он. Есть молодые ветра, есть – молодеющие с каждым мигом – всего, что по пути! (Младенческие ветра, московские!) Ветер не только вносит, он и вбирает, то есть теряет – изначальную пустоту. С ветром ведь так: вею первым, но пахну последним. Ветер – символ бесформенности – на мой взгляд сама форма движения. Содержание – путь. Этот стар, – летел ко мне четыреста лет, поднятый плащом того из итальянцев засилья, в честь которого уличка, а может быть только его слуги. (На расстоянии – скрадывается.) Стар, а по выходе из моего ущелья будет еще старше, очень уже стары дома.

Перед одним из таких – стою. Я его тоже никогда не узнаю, хотя незабвенен. А незабвенны на этой уличке – все. Если современные неотличимы из-за общности, старые – из-за особенности. Какая примета моего? Особый. Все – особые. Общность особенности, *особь* особенности. Так, просмотрев подряд сто диковинных растений, так же не отличишь, соединишь их в памяти в одно, как сто растений однородных, наделяя это одно особенностями всех. Так и с домом. И даже номер не помогает – даже 13! – ибо на всю уличку один фонарь, *не* против моего. Дом не-против фонаря, единственная примета.

В первый мой приход перед одним из домов стоял мотор, и я с самовнушением безысходности поверила, что раз стоит, то именно перед моим, приказала дому быть моим. (Так и оказалось.) Но сегодня мотора нет. Что сегодня – есть?

Близорукость? Беспамятность? Пусть, но главное: представление об уличке, как об ущелье, то есть чем-то сплошном, цельном. Раз не улица, а ущелье, то не дома, а гора, гора справа, гора слева, поди-ка найди *дом*! Недробимость.

Но – найти нужно. Проще бы: «Сезам, раскройся!» Чтобы вся гора – сразу, а во всей горе – вся сплошь – Гончарова. Но этого, твердо знаю, на сегодня не будет. С такими чудес не бывает, бывает с теми, кому не нужно, именно нужно, одним только и нужно. Раз я верю, что гора может раздаться, зачем же ей мне раздаваться? Со всяким, как я, гора «свои люди», для которых – неблагодарность любимых: – стараться не стоит. Одним дана вера, другим – чудеса.

И – чудо! Тот самый. Настолько тот самый, как если бы сам сказал: вот я. Особый среди особых, несравненный среди несравненных, все превосходные степени исключительности.

Вхожу. Справа светлое окно привратницы – именно привратницы: при воротах, да еще каких! – которой я никогда не видела и которую увидеть боюсь: в таком доме привратнице должно быть, по крайней мере, двести лет, и ей моего приветствия, как мне ее напутствия, не понять. Спешно миную, и в полном разгоне... Куда? Все нежилое. Что самое жилое из нежилого? Есть дома, где живут. Есть дома, которые живут. Сами. Вне людей. Стенами, ступенями, тупиками, выступами, закоулками, стуками, шагами, тенями, – всем, кроме человека. Дома, где «водится» (все, кроме человека). Дома «обитаемые» и, тем, необитаемые. Дома, столь жившие, или – так сильно жившие, что просто живут дальше. Как книга, уже не нуждающаяся ни в авторе, ни в читателях. Источник жизни, хранилище жизни, но уже не игральное ее. Дом, вышедший из игры.

Своды. Норы. Либо упруешься в стену, либо уйдешь навек. Дом не выстроенный, а прорытый. Не руки рыли. Стою, как на перекрестке. Вправо пойдешь – коня потеряешь. Влево пойдешь... Влево.

Дворы старых домов. Не люди мостили, великаны играли. Я камень, ты камень, я больше, ты еще больше, я глыбу, ты – гору. Нога ничего не узнает, непрестанно обманывается. Я глыбу, ты – гору. Я – утес, ты – ничего. Ничего называется яма. Яма то место, с которого, не доиграв, ушли. А мне по нему идти. Много таких мест. Так, с горы да в яму, из ямы да на гору... – проход! Световая щель. Увы, до последней секунды скрывавший свой свет. Вся дикость лаза в ущелье. Сверху течет – вечно. Вверяюсь стенам, знающим, куда идут и ведут. Я – не знаю. Знаю только: под рукой – бока, а под ногой – река. Бывшая. Поворотами реки, как поворотами плеча...

Лестница. Ступени – ибо надо же как-нибудь назвать! – деревянные. При первом заносе ноги, нога же, она же, узнает никогда не испытанные ступени пирамид. Если двор – великаны мостили, то лестницу они уже громоздили. Игра в кубики, здесь – кубы. Я выше, ты еще выше, я утес, ты – ничего. Следы той же игры, веселой для них, страшной для нас. (Так и большевики веселились, а мы боялись, так и большие веселятся, а дети...) Дерево ступеней оковано – окантовано железом. Если взглянуть – а чего не увидишь, ибо чего нет в старом дереве – ряд картин, взятых в железо. Гончарова к себе идет по старым мастерам, старейшему из них – времени.

Площадка за площадкой, на каждой провал – окно. Стекол нет и не было. Для выскока. Памятуя слова: «выше нельзя, потому что выше нет», этажей не считаю. Этажи? Эпохи. По такой лестнице самый быстроногий идет сто лет.

Картина, на которую много глядено, лестница, по которой много хожено, – глядение и хождение по следам всех тех до меня, мой след (взгляд) – последний, я крайняя точка этой поверхности, ее последний слой. Ступени от ходьбы явно протираются, неявно утолщаются. Что нога взяла, то след дал, нога унесла – след привнес. Наслоение шагов, как на стене – теней. Оттого так долго живут старые дома, питаемые всей жизнью, привносимой. Такой дом может простоять вечно, не живым укором, а живой угрозой подрастающим, перерастающим, *не* переставаящим. За бывшим не угнаться. Снеси сегодня, я тебя уже не перестоял, всем уже стойанным, выстойанным.

Оттого так долго идут по такой лестнице гости, а хозяева – так долго ждут.

Верх. Тот самый, дальше которого нельзя, ибо дальше нет. Переводя на время – конец четырехсот лет, которые стоит этот дом, то есть нынешнее число – 9-ое ноября 1928 г. – крайний час и миг этого дня. На данную секунду – конец истории.

В этом доме несколько сот лет тому назад жил величайший поэт Франции.

Мастерская

Первое: свет. Второе: пространство. После всего мрака – весь свет, всей стиснутости – весь простор. Не было бы крыши – пустыня. Так – пещера. Световая пещера, цель всех подземных рек. На взгляд – верста, на стих – конца нет... Конец всех Аидов и адов: свет, простор, покой. После этого света – тот.

Рабочий рай, *мой* рай и, как рай, естественно здесь не данный. В пустоте – в тишине – с утра. Рай прежде всего место пусто. Пусто – просторно, просторно – покойно. Покойно – светло. Только пустота ничего не навязывает, не вытесняет, не исключает. Чтобы всё могло быть, нужно, чтобы ничего не было. Всё не терпит *чего* (как «могло бы» – есть). – А вот у Маяковского рай – со стульями. Даже с «мебелями». Пролетарская жажда вещественности. У всякого свой.

Пустыня. Пещера. Что еще? Да палуба! Первой стены нет, есть – справа – стекло, а за стеклом ветер: море. Вечером, в нерабочее время, когда отдыхает кисть и *доходит* гость, стеклянная стена, морская, исчезает за другой, льющейся. Шелк или нет – желт. По вечерам в мастерской Гончаровой встает другое солнце.

Кроме стеклянной, правой, другая левая. Деревянная или каменная? (Что-то слышала о пристройке.) В старом доме и дерево – камень. (Преосуществление исконного материала: старая кожа, делающаяся бронзой, старое дерево – костью, глина – медью, лица старух и мертвых – всем, чем угодно, кроме плоти.) Не деревянная и не каменная, равно как третья, с которой сходится стена холстов (холсты лицом *от*) – стена крестов. Деревянных крестов подрамников. То же, что булыжники двора, что кубы лестницы, есть до неба, есть по пояс (только пробелов нет, ни одного «ничего!») – тоже, может быть, те же великаны играли и, *доиграв*, составили к стенке, лицом от глаз: сглазу. Не верю в разные силы, сила одна, игра – одна. Все дело в мере. Стихия, играя, не доигрывает и переигрывает:

Но ты выиграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей...

Ряд оконченных холстов – творчеством доделанная стихия творчества, день седьмой. Много дней седьмых в жизни Натальи Гончаровой, здесь, перед глазами, лицом к стене – от глаз. Дней седьмых – в прошлом, никогда в настоящем. Творящее творение тем отличается от Творца, что у него после шестого сразу первый, опять первый. Седьмой нам здесь, на земле, не дан, дан может быть нашим вещам, не нам.

Пол. Если от простора и света впечатление пустыни, то пол – совсем пустыня, сама пустыня. Не говоря уже о беспредметности его (ничего, кроме насущного ничего) – физическое ощущение песка, от стружек под ногами. А стружки от досок, строгаемых. Не стружки даже, – деревянная пыль, пыльца, как песок, осуществляющая тишину. Что тише земли? Песок. (Знаю и песок поющий, свистящий под ногой, как разрываемый шелк, песок иных прибрежий океана, но – тишина не отсутствие звуков, а отсутствие лишних звуков, присутствие насущных шумов – шум крови в ушах (комариное з-з-з), ветра в листве, в данную минуту, когда стою на пороге мастерской, шум переворачивающейся воды в паровом отоплении – огромной печке, тепловом солнце этой пустыни.) Пустыня и – оазис! Справа, вдоль стеклянной стены, вся песчаная полоса – в цветном! Вглядываюсь ниже – глиняные миски с краской: из той же коричневой чашечки – каждый раз другой цветок! Цветы, как на детских картинках или виденные сверху, на лужайках: все круглые, плоские, одни по краям, другие на самом доннышке – не один оазис, а ряд оазисов, маленьких цветных островков, морец, озерец. Моря для маленьких,

моря с блюдце. Из таких донышек – такие громады (холсты). Все в этом деле нечеловеческое: божеское!

Пещера, пустыня и – не сон же все эти глиняные горшки и миски – гончарня. Как хорошо, когда *так* спевается!

В первый раз я мастерскую увидела днем. Тогда ущелье было коридором, одним из бесчисленных коридоров старого дома – Парижа. А мастерская – по жару – плавильней. Терпение стекла под нестерпимостью солнца. Стекло под непрерывным солнечным ударом. Стекло, каждая точка которого зажигательное стекло. Солнце палило, стекло калилось, солнце палило и плавало. Помню льющийся пот и рубашечные рукава друзей, строгавших какую-то доску. Моя первая мастерская Гончаровой – совершенное видение труда, в поте лица, под первым солнцем. В такую жару есть нельзя (пить – зря), спать нельзя, говорить нельзя, дышать нельзя, можно только – единственное, что всегда можно, раз навсегда нужно – работать. И плавить не стекло, а лбы.

Помню, в этот первый раз – где-то сбоку – площадку, которая затем пропала. Под ней косяки крыш – один из Парижей Гончаровой, а над ней, на ней – одно из гончаровских солнц, отвесных – и я под ним. Жарче – лучше – мне в жизни не было. Площадка пропала с солнцем, и выйти на нее из мастерской сейчас, в январе, так же невозможно, как вызвать то солнце. Вернемся с ним.

Пещера – пустыня – гончарня – плавильня.

Почему из всего Парижа Гончарова выбрала именно этот дом? Самый богатый красками художник – дом в одну краску: времени, зачинатель новой эпохи в живописи – дом, где этажи считают эпохами, едва ли не современнейший из художников – дом, современники которого спят вот уже четыреста лет. Гончарова – развалины, Гончарова – дом на снос. «Льготный контракт»?.. Необычайные даже для мастерской размеры помещения?.. Латинский квартал?.. Да, да, да. Так скажут знакомые. Так скажет – кто знает – может быть, сама Гончарова. А вот что скажет дом.

Чтобы преодолеть страх перед моей тишиной, нужно быть самым громким, страх перед моим сном – самым бодрствующим, страх перед моими веками – самым молодым, страх перед моим бывшим – самым будущим! «Темен – освещу, сер – расцвечу, тих – оглашу, ветх – укреплю...»

Или же: «Темен – подгляжу, тих – подслушаю, стар – поучусь».

Или же: тишину – тишиной, сон – сном, века – веками веков.

Преодолеть меня мною же, то есть вовсе не преодолевать.

Первое – ребенок, второе – ученик, третье – мудрец. Все трое вместе – творец.

Сила на силу – вот ответ старого дома.

Еще один ответ: самосохранение Гончаровой-художника. Пресловутая «Tour d'ivoire»¹ на гончаровский лад. Дом – оплот (недаром в один цвет: защитный – времени). Сюда не доходят шумы, и сюда не очень-то заходят люди. «В гости» – это такой улицей, таким двором, такой лестницей-то – в гости? Переборет этот страх и мрак только необходимость. (В гости ходят не так к знакомым, как к их коврам, полам...)

Остальные не дойдут или не найдут. Остальные отстанут. Останутся.

И еще: игра. Такая сила творческой игры в булыжниках двора, расселинах стены, провалах лестницы, такая сила здесь играла, что Гончаровой, с ее великанскостью творчества, – упрек одного критика: «Да это же не картины, это – соборы!» – этот дом просто сродни. Таким его сделало время, то есть естественный ход вещей. К этому дому, такому, как он сейчас есть,

¹ Башня из слоновой кости (*фр.*).

будто бы и рука не прикасалась. Не прикасалась она и к самой Гончаровой, – никакая, кроме руки природы. Гончарова себя не строила, и Гончарову никто не строил. Гончарова жила и росла. Труд такой жизни не в кисти, а в росте. Или же: кисть: рост.

У Гончаровой есть сосед: маленький французский мальчик, обожающий рисовать. «Сколько бы раз я ни вышла на лестницу: „Bonjour, Madame!“ – и сейчас показывать. – Сте-режет. – Пока какие-то каракульки, но любит страстно. Может быть, что-нибудь и выйдет...»

Случайность? Такая же, как Гончарова и дом. Как Трехпрудный пер<<еулок>>, д<<ом>> 8, и Трехпрудный пер<<еулок>>, д<<ом>> 7, к которым сейчас вернусь. О мальчике же: если бы мальчик знал, – кто эта «Madame», и если бы Наталья Гончарова через двадцать лет могла сказать: «Если бы я тогда знала, кто этот мальчик...»

Трехпрудный

Трехпрудный. Это слово я прочла на упаковочном ящике черными буквами по, выдавшему виды, дереву.

– Трех... то есть как Трехпрудный? – Переулочек такой в Москве, там у нас дом был. – Номер? – Седьмой. – А мой – восьмой. – С тополем? – С тополем. Наш дом, цветаевский. – А наш – гончаровский. – Бок о бок? – Бок о бок. А вы знаете, что ваш дом прежде был наш, давно, когда-то, все владение. Ваш двор я отлично знаю по рассказам бабушки. Женихи приезжали, а она не хотела, качалась на качелях... – На нашем дворе? – На вашем дворе. – В этом доме я росла. – В доме рядом я – росла.

Бабушка, качающаяся на качелях! Бабушка, качающаяся на качелях, потому что не хочет женихов! Бабушка, не хотящая женихов, потому что качается на качелях! Бабушка, от венца спасающаяся в воздух! Не чепец кидающая в воздух, а самое себя! Бабушкины женихи... Гончаровой – бабушки женихи!

Недаром у меня, тринадцатилетней девочки, было чувство, что живу десятую жизнь, не считая знакомых мною – отца, матери, другой жены отца, ее отца и матери, – а главное, какой-то прабабки: румынки, «Мамаки», умершей в «моей» комнате и перед смертью вылезшей на крышу – кроме всех знакомых – все неизвестные. Сила тоски в тех стенах! И когда я, пятнадцати лет, от жизни: дружб, знакомств, любовей спасалась в стихи!..

Мои пятнадцатилетние стихи – не гончаровской ли бабушки качели?

Знала, знала, знала, что до отца с одной женой, потом с другой, до чужого деда с чужой бабушкой, до моих собственных до-до-до – здесь было, было, было!

И, шестнадцати лет, стихи:

Будет скоро тот мир погублен!
Посмотри на него тайком,
Пока тополь еще не срублен
И не продан еще наш дом.

Этот тополь! Под ним ютятся
Наши детские вечера.
Этот тополь среди акаций,
Цвета пепла и серебра.

И еще тогда же:

Высыхали в небе изумрудном
Капли звезд, и пели петухи...
Это было в доме старом, доме чудном...
Чудный дом, наш дивный дом в Трехпрудном,
Превратившийся теперь в стихи.

Этих стихов нигде нет – что знала, то сказала, – и дома нигде нет. В первый раз, в Революцию, я, держа на вытянутых руках свою, четырехлетнюю тогда, Алю, увидела в окна залы рабочих, хлебавших деревянными ложками воблиный суп, в последний раз – с той же Алей за руку – да где же дом? Закрываю глаза – стоит. Открываю – нет. Тополя не снесли. Потом, может быть. Больше я в Трехпрудном не была. Больше не буду, даже если типография Левен-

сон – наперекосок от бывших нас, – где я печатала свою первую книгу, когда-нибудь будет печатать мою последнюю².

В первый раз я о Наталье Гончаровой – живой – услышала от Тихона Чурилина, поэта. Гениального поэта. Им и ему даны были лучшие стихи о войне, тогда мало распространенные и не оцененные. Не знают и сейчас. Колыбельная, Бульвары, Вокзал и, особенно мною любимое – не все помню, но что помню – свято:

Как в одной из стычек под Нешавой
Был убит германский офицер,
Неприятельской державы
Славный офицер.
Где уж было, где уж было
Хоронить врага со славой!

Лег он – под канавой.
А потом – топ-топ-топ —
Прискакали скакуны,
Встали, выются вокруг канавы,
Как выюны.
Взяли тело гера,
Гера офицера
Наперед.
Гей, наро-ды! Становитесь на колени пред канавой,
Пал здесь прынц со славой.

...Так в одной из стычек под Нешавой
Был убит немецкий, ихний, младший прынц.
Неприятельской державы
Славный прынц.

– Был Чурилин родом из Лебедяни, и помещала я его, в своем восприятии, между лебедой и лебедями, в полной степи.

Гончарова иллюстрировала его книгу «Весна после смерти», в два цвета, в два не-цвета, черный и белый. Кстати, непреодолимое отвращение к слову «иллюстрация». Почти не произношу. Отвращение двойное: звуковое соседство перлюстрации и смысловое: illustrer: означивать, прославливать, странным образом вызывающее в нас обратное, а именно: несущественность рисунка самого по себе, применительность, относительность его. Возьмем буквальный смысл (означивать) – оскорбителен для автора, возьмем ходовое понятие – для художника³. Чем бы заменить? Украшать? Нет. Ибо слово в украшении не нуждается. Вид книги? Недостаточно серьезная задача. Попытаемся понять, что сделала Гончарова по отно-

² Еще совпадение. Книга Вересаева «Пушкин в жизни», которую я с восхищением и благодарностью пользовалась для главы «Наталья Гончарова – та», оказалась отпечатанной в 16-й типографии «Мосполиграф», Трехпрудный пер<<еулоч>>, д<<ом>> 9, т.е. в той же моей первой типографии Левенсон, где, кстати, и Гончарова печатала свою первую книгу (примеч. М.Цветаевой).

³ Есть еще одно значение, мною упущенное: lustre – блеск и lustre месячный срок («douze lustres»), т. е. тот же блеск; месяц. Откуда и люстра. Откуда и illustre (славный), так же, как наша церковная «слава», идущая от светила. Illustrer – придавать вещи блеск, сияние: *осиявать*. Перлюстрировать – просвечивать (как рентгеном) (примеч. М. Цветаевой.).

шению книги Чурилина. Явила ее вторично, но на своем языке, стало быть – первично. *Wie ich es sehe*⁴ Словом – никогда без. Германии не обойдусь – немецкое *nachdichten*⁵, которым у немцев заменен *перевод* (сводной картинке на бумагу, иного не знаю). Стихи Чурилина – очами Гончаровой.

Вижу эту книгу, огромную, изданную, кажется, в количестве всего двухсот экз<<емпляров>>. Книгу, писанную непосредственно после выхода из сумасшедшего дома, где Чурилин был два года. Весна после смерти. Был там стих, больше говорящий о бессмертии, чем тома и тома.

Быть может – умру,
Наверно воскресну!

Под знаком воскресения и недавней смерти шла вся книга. Из всех картинок помню только одну, ту самую одну, которую из всей книги помнит и Гончарова. Монастырь на горе. Черные стволы. По снегу – человек. Не бессознательный ли отзвук – мой стих 1916 г.:

...На пригорке монастырь – светел
И от снега – свят.

– Книга светлая и мрачная, как лицо воскресшего. Что побудило Гончарову, такую молодую тогда, наклониться над этой бездной? Имени у Чурилина не было, как и сейчас, да она бы на него и не польстилась.

Гончарова, это слово тогда звучало победой. В этом имени мне всегда слышалась – и виделась – закинутая голова.

(Голова с заносом,
Волоса с забросом!)

Это имя – оглавляло. Та же революция до революции, как «Война и мир» Маяковского, как никем не замеченная тогда книга Пастернака «Поверх барьеров».

И когда я – в прошлом уже! – 1928 году летом – впервые увидела Гончарову с вовсе не закинутой головой, я поняла, насколько она выросла. Все закинутые головы – для начала. Закидывает сила молодости (задор!), вызревшая сила скорее голову – клонит.

Но одно осталось – с забросом.

Внешнее явление Гончаровой. Первое: мужественность. – Настоятельница монастыря. – Молодой настоятельница. Прямота черт и взгляда, серьезность – о, не суровость! – всего облика. Человек, которому все всерьез. Почти без улыбки, но когда улыбка – прелестная.

Платье, глаза, волосы – в цвет. «Самый покойный из всех...» Не серый.

Легкость походки, неслышность ее. При этой весомости головы – почти скольжение. То же с голосом. Тишина не монашенки, всегда отдающая громами. Тишина над громами. Загромная.

Жест короткий, насыщенный, человека, который занят *делом*.

– Моя первая встреча с Вами через Чурилина, «Весна после смерти».

– Нет, была и раньше. Вы не помните?

Гляжу назад, в собственный затылок, в поднебесье.

– Вы ведь в IV гимназии учились?

⁴ Как я это вижу (*нем.*).

⁵ Переводить вольно (*нем.*).

– И в четвертой.

– Ну, вот. Вы, очевидно, были в пригласительном, а я кончала. И вот как-то после уроков наша классная дама, Вера Петровна такая, с попугаячьим носом, – «За Цветаевой нынче не пришли. Проводите ее домой. Вы ведь соседки?» Я взяла Вас за руку, и мы пошли.

– И мы пошли.

Дорого бы я дала теперь, чтобы сейчас идти за теми двумя следом.

Четвертая гимназия. Красные иксы балюстрады вокруг пруда-»прудов» – Патриарших. Первый гимназический год, как всё последующее, меняла школы, как классы и города, как школы – без друзей, с любовью к какой-нибудь одной, недостижимой, ибо старшей, – с неизменным сочувствием все тех же трех учителей – русского, немецкого, французского, – с неизменным презрением прочих. Патриаршие пруды, красные фланелевые штаны, восемь лет, иду за руку с Натальей Гончаровой.

(Может, и не было. Кажется, не могло быть. И не меня вели, а другую, Цветкову, напр<<имер>>. Или мою старшую сестру – тоже Цветаева и тоже Трехпрудный. Но *та* не помнит, а я помню. Но *ту* не помнит, *меня* помнит. Значит – я. Значит – мое.)

Младенчество

Наталья Гончарова родилась в Средней России, в самом сердце ее, в Тульской губ<<ерни-и>>, деревне Лодыжино. Места толстовско-тургеневские. Невдалеке Ясная Поляна, еще ближе Бежин Луг. А в трактире уездного городка Чернь – беседа Ивана с Алешей. Растет с братом – погодком в имении бабушки. Бабушка безвыездная: ни к кому никуда, зато к ней все, вся деревня. По вечерам беседы на крыльце. Что у кого отелилось – ожеребилось – родилось, что у кого болит – чем это что лечить. Бабушка живет в недостроенном доме, родители Гончаровой с детьми напротив, в недоснесенном. Почему недоснесли? Почему недостроили? Так, между начатком и пережитком, протекает ее младенчество. Два дома и ни одного цельного, а зато два. Дом в ущелье – прямой вывод тех двух. Прямым выводом была бы и палатка, всякое жилье, кроме комфортабельной казармы современности. Это – отзвук в быту. И – обратный урок колыбели: недостроенное – достраивай! Законченные «соборы» Гончаровой – *нет* всем недостроенным домам.

– У вас есть любимые вещи? – Нелюбимые – есть. Недоделанные. Я просто оборачиваю их лицом к стене, чтобы никто не видел и самой не видеть. А потом, какой-то нужный час – лицом от стены и – все заново.

На вопрос, на который никто не отвечает сразу, а иные не отвечают вовсе, не потому, что не было, а потому, что не думали («да у меня и не было первого!» ушами слышала) – Гончарова ответила точно и сразу:

– Первое воспоминание? В той комнате, знаете, о которой я Вам говорила, – белянке, мы с братом за круглым столом смотрим картинки. Книга толстая, картинок много. Гуда? Два.

– А это должно быть второе, если не первое. Я все детство прожила в деревне и совсем не помню зимы. Была же, и гулять должно быть водили, – ничего. А это помню. Весна на гумне. Меня за руку ведут через лужи. А из луж (голос тишает, глаза загораются, меня, на которую глядят, не видят, видят): – из-под льда и снега – ростки. Острые зеленые ростки. На гумне всегда много зерен рассыпано. Первые проросшие.

Ну, есть и лучшие, ну, может ли быть лучше, чем: два первых сразу, вся Гончарова в колыбели: сила природы в ней и тяга ремесла. Книга то-олстая! Картинок мно-ого! И не эти ли острые ростки – потом – через всю книгу ее творчества: бытия.

– Кукол не любила, нет. Кошек любила. А что любила – садики делать. (Вообще любила делать.) Вырезались из бумаги кусты, деревца и расставлялись в коробке. Четыре стенки – ограда. Законченный сад.

– Вам бы не хотелось сейчас – такое деревцо, тогдашнее?

(Голубово, имение барона Б. А. Вревского. «В устройстве сада и постройках принимал Пушкин, по фамильному преданию, самое горячее участие: сам копал грядки, рассадил множество деревьев, что, как известно, было его страстью».)

– Вы говорите, первое воспоминание. А вот – самое сильное, без всяких событий. Песня. Нянька пела. Припев, собственно:

А молодость не вернется,
Не вернется опять.

– А знаете, в чем дело? В противузаконном «опять». Если бы во-век – не то было бы, не все было бы. Какое нам дело, что во-век? Во-век, это так далеко, во-век, это вперед, в будущее, то во-век, в которое мы не верим, до которого нам дела нет, во-век, это ведь и после нас, а

не с нами, после всех. Ведь во-век – это не только в *наш* век (жизнь), в наш век (столетие), а вообще – и во веки веков. Поэтому безразлично.

А вот *опять*, то есть сюда же, на эту точку, на которой мы сейчас стоим. Ведь мы стоим, *вещь* уходит! Не вернется опять – вспять. В *опять* ее невозвратный шаг от нас, просто – ушагивает.

А во-век – никогда – никакого зрительного впечатления, отвлеченность, в которую мы не верим. Кто же когда-либо верил в *ничто* и *никогда*.

Усиленное не вернется, не только не вернется, но сугубо не вернется. Вот – *опять*!

– Я ведь маленькая была и слов не понимала. Понимала только, что ужасно грустно.

– Вы понимали – смысл.

– А еще у нас была молельня. Но до молельни были молитвы, то есть нянька. Красивая, молодая, черноглазая. И вот, не знаю уж для чего, может быть, чтобы сидели смирно, а может быть, чтобы просто сидели, а она бы уходила, – молитвы. Сидим и молимся. Да как! Часами! (Может быть, ее же, нянькины, грехи и замаливали...) Вы только представьте себе: дети, резвые, драчуны – я до пятнадцати лет дралась с братом, мы запирали дверь на задвижку и дрались, дрались ожесточенны – только одним махом – и тогда я поняла, что бесполезно, – дети, резвые, драчуны, – а ведь как ждали этого часа! – «Вот когда папа с мамой уйдут».

– А что это были за молитвы?

– Не знаю. Простые, должно быть.

– Хлыстовские, может быть?

– А молельня: там у нас фильтр был – знаете, такая громада? Тяжелый, глиняный, нелепый какой-то. И никто, конечно, не цедил. А фильтр стоял. А стоял он на ящике, особом таком, в боку отверстие, вроде окна. Знаете такие ящики? И вот однажды мы, поглядев, поняли, что это, собственно, храм. Огромный храм, только маленький. И устроили молельню. Пол выстлали золотой бумагой, даже алтарь был. И – молились.

– Но как же, – раз ящик был маленький?

– Не в нем молились, *в него* молились, через то окошко, боковое...

(Переключка. Недавно я, во вступлении к письмам Рильке, обмолвилась: «Еще мне хочется говорить – ему, точнее – в него». То, что Гончарова говорит о храме, относится также к божеству храма: в него молиться, не ему молиться.)

...»Нянька знала. А мать, кажется, нет. Просто топчемся около фильтра. Мало ли...»

Гончаровские соборы из глубока росли!

«В гимназию поступила прямо из деревни. От всех доставалось, за все доставалось. Особенно от словесника за орфографию». – Плохую? – «Тульскую. Говорила по-тульски – х вместо ф и все такое – а писала как говорила. Написанным это должно было выглядеть ужасно». – Ужасно. – «А еще от классной дамы – за кудри. Вились только две передние пряди, это-то и сбивало: вся гладкая, а по бокам вьюсь. И глажу, и мажу... Сколько – раз: „Гончарова, к начальнице в кабинет!“ – „Опять завилась?“ – И мокрой щеткой, до боли в висках. Выхожу, гладкая, как мышь, а сама смеюсь, – от воды ведь, знаете, что с кудрявыми волосами? И на следующей перемене...»

– «А кудри завьются, завьются *опять*!»

Только погрузить об этих педагогах, могущих заподозрить в щипцах – этот дичок, за давностью преподавания природоведение забывших, очевидно, что есть волосы, действительно вьющиеся, как хмель вьется, и что с такими волосами – как с хмелем – как с самой Гончаровой – ничего не поделаешь. Разве что вырвать с корнем.

Все это мелочи – и драки, и молельня, и кудри. Останется не это, а «соборы». Хочу, чтобы и это осталось.

Есть ли у художника личная биография, кроме той, в ремесле? И, если есть, важна ли она? Важно ли то, из чего? И – из того ли – то?

Есть ли Гончарова вне холстов? Нет, но была *до* холстов, Гончарова до Гончаровой, все то время, когда Гончарова звучало не иначе, как Петрова, Кузнецова, а если звучало – то отзвуком Натальи Гончаровой – той (печальной памяти прабабушки). Гончаровой до «соборов» нет – все они внутри с самого рождения и до рождения (о, вместимость материнского чрева, носящего в себе *всего* Наполеона, от Аяччио до св. Елены!) – но есть Гончарова до холстов, Гончарова немая, с рукой, но без кисти, стало быть – без руки. Есть препоны к соборам, это и есть личная биография. – Как жизнь не давала Гончаровой стать Гончаровой.

Благоприятные условия? Их для художника нет. Жизнь сама неблагоприятное условие. Всякое творчество (художник здесь за неимением немецкого слова *Künstler*) – перебарыванье, перемалыванье, переламыванье жизни – самой счастливой. Не сверстников, так предков, не вражды, ожесточающей, так благожелательства, размягчающего. Жизнь – сырьем – на потребу творчества не идет. И как ни жестоко сказать, самые неблагоприятные условия – быть может – самые благоприятные. (Так, молитва мореплавателя: «Пошли мне Бог берег, чтобы оттолкнуться, мель, чтобы сняться, шквал, чтобы устоять!»)

Первый холст – конец этой Гончаровой и конец личной биографии художника. Обретший глас (здесь хочется сказать – глаз) – и за него ли говорить фактам? Их роль, в безглазую пору, первоисточника, отныне не более как подстрочник, часто только путающий, как примечания Державина к собственным стихам. Любопытно, но не насущно. Обойдусь и без. И – *стихи лучшие знают!*

И если ценно, то в порядке каждой человеческой жизни, может быть и менее, потому что менее показательно. Не-художник в жизни живет весь, на жизнь – ставка, на жизнь как она есть, здесь – на жизнь как быть должна.

Холст: есмь. Предыдущее – ход к холсту.

Есть факты – наши современники. Есть – наши предшественники, факты *до* нас. «Когда я не была Гончаровой» (не для других, а для самой себя, не Гончаровой – именем, а Гончаровой – силой). Таково все детство и юность. Предки, предшественники, предтечи. Их и нужно слушать. Дедов – о будущих внуках. Гончарова – маленькая, себе нынешней бабушка, слепая и вещая. Рука Гончаровой, насаживающая садик, знает, что делает, пятилетняя Гончарова – нет. Встреча знания с сознанием, руки Гончаровой с головой Гончаровой – первый холст. Рука Гончаровой, насаживающая садик, – рука из будущего. Здесь пращур вещь! Ее рука умнее ее. В последующем – юношестве – рука (инстинкт) сдает. Лучший пример – та же Гончарова, кончающая школу живописи и ваяния – скульптором. Боковое ответвление принявшая за ствол. Рука, смело раскрашивающая деревья в семью-семь цветов радуги, здесь ослепла и наткнулась на форму. (Бабушка заснула, и внучка играет сама).

Детство – пора слепой правды, юношество – зрячей ошибки, иллюзии. По юношеству никого не суди. (Казалось бы – исключение Пушкин, до семи лет толстевший и копавшийся в пыли. Но почему мы знаем, что он думал, верней, что в нем думало, когда он копался в пыли. Свидетелей этому не было. Последующее же – о несуждении по юношеству – к Пушкину относится более, чем к кому-либо. Пушкин, беру это на себя, за редкими исключениями в юношестве – отталкивает.)

О, это потом опять споется – как спелось с Гончаровой. Сознание доросло до инстинкта, не спелось, а спаялось с ним. С первым холстом (с *фактом* – актом – первого холста, каков бы ни был) Гончарова – зрячая сила, вещь почти божественная.

История моих правд – вот детство. История моих ошибок – вот юношество. *Обе* ценны, первая как Бог и я, вторая как я и мир. Но, ища нынешней Гончаровой, идите в ее детство, если

можете – в младенчество. Там – корни. И – как ни странно – у художника ведь так: сначала корни, потом ветви, потом ствол.

История и до-история. Моя тяга, поэта, естественно, к последней. Как ни мало свидетельств – одно доисторическое – почти догадка – больше дает о народе, чем все последующие достоверности. «Чудится мне»... так говорит народ. Так говорит поэт.

Если есть еще божественное, кроме завершения, мира явленного, то – он же в замысле.
Еще божественнее!

Но есть и еще одно – уже не божественное, а человеческое – в личной биографии большого человека: то сжатие сердца, с которым встречаем гончаровское деревцо. То соучастие сочувствия, вызываемое в нас, всех так игравших, ею, доигравшей и выигравшей.

У подножия тех соборов – та картонка.

Простое умиление сердца.

Две Гончаровы

– Что Вы сейчас пишете?

– Наталью Гончарову.

– Ту или эту?

Значит, две. Две и есть. Чем руководствовались родители нашей, назвав ее тем именем, еще раз возобновив в наших ушах злосчастное созвучие, почти что заклеив. В честь? Мысленно оставляю пустое место. В память? Помним и так. Может быть – и скорее всего – попросту; у нас-де в роду имя Наталья. Но именно таким попросту орудует судьба. К этому еще вернусь, говоря о Наталье Гончаровой – той.

Наталья Гончарова – та – вкратце.

Молодая девушка, красавица, та неременная красавица многодочерних русских семейств, совсем бы из сказки, если из трех сестер – младшая, но старшая или младшая, красавица – сказочная, из разорившейся и бестолковой семьи выходит замуж за – остановка – за кого в 1831 г. выходила Наталья Гончарова?

Есть три Пушкина: Пушкин – очами любящих (друзей, женщин, стихолюбых, студенчества), Пушкин – очами любопытствующих (всех тех, последнюю сплетню о нем ловивших едва ли не жаднее, чем его последний стих), Пушкин – очами судящих (государь, полиция, Булгарин, иксы, игреки – посмертные отзывы) и, наконец, Пушкин – очами будущего – *нас*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.